

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

## ВЫСОКИЕ ОБЛАКА

### I

Сад после дождя так нежен. Кузнечики взялись за косилки, пока трава влажна, и слышно, как торопятся переехать поле. Ласточки, только что чертившие сад, вспыхивают под последними лучами солнца высоко-высоко. А сад уже присмирел и вслушивается в каждое падение капли с листа. И отчего-то вдруг становится пронзительно одиноко. Без боли, а высоко и печально, как этот полёт поднебесной ласточки.

В такой час хорошо вспоминать ушедших и, слава Богу, ещё живых милых друзей. И отчего-то первыми вспоминаются поэты, которые всегда роднее вечеру, чем прозаики.

Я не пил из Кастальского ключа – и то чувствую немое томление по слову, которое обняло бы это долгое падение капли, это краткое мгновение, полное мучительной тишины мира. А уж как услышали бы эту тишину они!

Володя Башунов, верно, при самом предчувствии таких летних вечеров оставлял девятый этаж своей скучной Северо-Западной улицы в Барнауле и добирался до родной опустевшей деревни, чтобы посидеть над материнской и отцовской могилами, наглядеться на милую свою Бию, которая и сейчас, когда Володи давно нет, всё летит, как в его детстве, с молодым шумом и озорством, не ведая возраста, смущая равнодушным весельем, но им же и врачую сердце...

*И плачу я, большой и сильный,  
уже давно немолодой,  
над золотой травой и синей,  
и над зеленою водой.*

В последние годы его письма сделались невеселы, хоть и оставались горько-смешливыми. Это у родной реки научился он смеяться в час печали! В них всё реже мелькали стихи, которые, бывало, глядели с отдельного листочка чудно и странно, как всегда глядят стихи в письмах, словно ждал ты одного гостя, а пришли сразу два.

Замечали ли вы, как изменяется ваш голос, когда вы читаете эти стихи про себя, словно вы смущены и обрадованы, и немного не узнаете милого друга. Только что он говорил так привычно и знакомо, и вдруг сквозь его образ проступил кто-то другой, прекрасный и неожиданный, и этот другой требует и от вас вспомнить в себе высшее, Господне значение. В книжке совсем другое – там вы готовы к восприятию стиха, и всё естественно. А тут на минуту смутишься, потому что требуется забыть день на дворе для целомудрия

чистого сердца. Уже сколько лет я не слышу родного Володиного голоса и тоскую по нему, потому что не могу без него назвать вот такого вечера, этих ускользаний, недоговоренностей, этих предчувствий, которые он называл так просто и точно.

А Толя Гребнев, поди, вернулся в своей пермской Байгуловке с ночного дежурства. Хирург по первому образованию, он предпочёл психиатрию, и уже в серьёзных годах переменял специализацию. Теперь его дом стоит в соседстве с лечебницей, где пациенты живут в параллельном мире, куда нам нет прямого входа. Он и из окна-то видит свою лечебницу. И если я подойду со стороны деревни, меня он не увидит, пока не постучу в дверь.

Мы обнимемся, и уже в бане, когда вылетишь передохнуть, развернёт гармонь, доставшуюся ему от замечательно игравшего на ней брата Василия Ивановича Белова, Юрия, и мы всласть напоемся. И с печалью вспомним недавно погибшего Геннадия Заволокина, который любил играть Толины песни. Геннадий извлекал музыку из этих стихов так естественно, что, казалось, она рождалась сама и излетала из стиха жаворонком на нити строки, словно уже готовой была заложена в самом стихе. А уж там непременно пойдут частушки:

*Мы грустить с тобой не станем.  
Раскатись, как раньше гром!  
Мы свою гармонь растянем,  
А чужую разорвём!*

Не умеет Толя вятской песенной душой долго печалиться.

И я никогда не узнаю, где у него чужие частушки, которых он знает тысячи – и тут бы им с Николаем Старшиновым друг друга не одолеть! – а где при заминке вылетит и своя, рождённая с мгновенной свободой, словно тоже выхваченная из воздуха готовой. Тут уж его народное сердце говорит, кровь трав и небес, полей и птиц, бабушек и дедушек, маслениц и постов. Всё родословие милой Родины проросло в его кровообращение и живёт там, ожидая только оклика мира, мгновения совпадения света сердца и света дня, чтобы излиться с необычайной простотой, где не найдёшь и следа усиления и труда воображения.

А Виталий Науменко, очевидно, всякий раз проходя по улице Красных мадьяр в Иркутске, вспоминает жившего тут некогда Толю Кобенкова (для меня Толю, а для него, конечно, Анатолия Ивановича!), и как при встрече их музы вслушивались друг в друга, в оттенки опасливого чувства самозащиты, которое – особенно перед другом – страшится банальности, повтора, цитаты. Прекрасно вооружённые, они слушали друг друга ревниво и бережно: Виталий – удивляясь чудной простоте в сложной ткани стихов своего старшего товарища, а Анатолий – завидуя свежести молодого чувства, которого уже не возьмёшь ни силой, ни опытом:

*Возлюбим друг друга за рифмы, связавшие строки,  
за жадные строфы, не знавшие ночи и страха,  
за то, что для них начинаются новые сроки —  
наточен топор, и ни малой пушинки на плахе.*

Беседа ведь прекрасна именно этим – неожиданным прорывом к себе, когда, ухватившись за слово, рифму, промельк чувства, внезапно кидаешься перебивать собеседника, пока не забыл, потому что ослепительная яркость Бог весть откуда взявшегося понимания требует немедленного выхода. “Беседы блаженнейший зной” – так звала это чудо Ахматова.

Господи, кажется, ещё так недавно можно было позвонить Гене Кононову в соседнее Пыталово, и он глуховато, будто себе самому, прочитал бы что-нибудь из недавнего. Прочитал замкнуто, с ясным чувством дистанции, как многие из тех поэтов, кто сложился в глухие 80-е, не давая жизни настичь себя неготовым, в тесной маске иронической свободы, так что сразу чувствуешь, что ты при этом чтении лишний. О, они что-то такое узнали, что позволяло им говорить через наши головы, понимая друг друга с полуслова и ускользая, – одинокие недоверчивые дети немого времени. Они не мстили ему (ну, разве что изредка, срываясь), потому что знали, что тайна где-то глубоже, в том числе и в них, в их потаенной замкнутости.

*Что ни год, я все меньше живу и все больше кажусь,  
Сохранив в пределах освоенной роли без боли...*

Или, как задолго до Геннадия ошупью написал измученный, нарочито спившийся, сживший себя со свету несчастный пермский поэт Николай Бурашников:

*Душа... она не без потёмок.  
В ней есть такие уголки,  
Где мысль блуждает, как ребёнок,  
И страшны в тишине шаги.*

Кто-кто, а они-то эти “страшные шаги” слышать умели и умели сказать о них, осмотрительно не называя напрямую, как из боязни остерегаются называть тёмную силу, но обставляя словами, которые наполняли сердце смятением и зыбкой тревогой. Они и говорили, кажется, не смыслом слов, не Господней их глубиной, словно она была навсегда повреждена для них бесстыдным и ложным употреблением, а одними оболочками, целомудренно защищая живую сердцевину слова.

## II

Какие же они были разные: разбросанные по Руси романтически нежный и надежно ясный Виктор Тимофеев в Мурманске, безупречно точный, ведающий тонкую меру знания и молчания, доверчивости и скрытности Евгений Курдаков в Новгороде, короткий, как взгляд, и долгий, как воспоминания детства, Алексей Решетов в Перми, жёсткий и усталый Евгений Лукин в Волгограде...

*Полистаешь наугад —  
всё расстрелы да застенки.  
От Памира до Карпат  
нет невыщербленной стенки.  
Вот и думается мне:  
до чего же я ничтожен,  
если в такой стране  
до сих пор не уничтожен.*

А в Омске, Тюмени, Екатеринбурге (хотя этот город, кажется, не любит, когда его ставят в ряд, потому что числит себя третьей, а то и второй интеллектуальной столицей России)! А в Рязани, Костроме, Нижнем... “Богаты мы, едва из колыбели...” — оттого и можем себе позволить время от времени снисходительно всеведущие разговоры о кризисе, а то и о конце искусства, об усталости русской поэзии. Конечно, когда слышишь в рубрике русского “настоящего” радио “настоящую поэзию” всё одного только московского извода — благородно-печального, философски-тонкого, религиозно-возвышенного, метафорически-изобретательного, — поневоле о кризисе заговоришь. Захочется чего-нибудь попроще, поземнее, да хоть бы и позлее, понеумелее, с окликом живых небес, с шумом листвы под ветром, с ором птиц и немотой ночи, с пеньем и руганью, смехом и стоном — со всем тем, что никуда не ушло из жизни и поэзии.

Загнанные столичными журналами в однообразный круг, мы и правда временами готовы сдать себя неверию. Я по Пушкинским нашим праздникам сужу. Когда группа подбирается наспех и по бедности союзов не может выманить дальних, собирая тех, кто под рукой и кто “встанет подешевле”, скоро чувствуешь усталость. При этом поэты-то и не москвичи обычно по роду, а тоже ещё недавно рязанские да костромские, но Москва скоро накладывает на вчерашнего провинциального гения властную лапу, заставляет оглядываться на “готовое платье” предшественников, “образовываться”, то есть попросту терять себя под унифицирующим давлением электрического неба и дозированного воздуха. Все становятся умны и умелы, легко управляются с неподъёмными темами, самоуверенно посягают на весь человеческий опыт, подгибая его под свой прирученный еклезиаст, и, в конце концов, вытирают друг о друга до неразличимости.

А вот получишь, скажем, письмо из Перми, да выпадет из письма короткий листок, исписанный столбиком:

*Совладеешь ли с тоскою,  
если духом одинок?  
В дальнем городе во Пскове  
ты печалишься, браток.  
Я и сам не очень весел,  
тоже есть с чего грустить.  
Нам с тобой бы в этот вечер  
друг у дружки погостить! —*

и мир опять свеж и умыт, так что, глядишь, и московский поэт вдруг зажжётся от этого листка ещё не выветрившейся подлинностью. Жалко, что листки эти попадают всё реже. Ну, это можно перетерпеть, скоро и письмо-то сделается анахронизмом — “ером” и “ятем” нашего существования. Только бы сами поэты не переставали писать стихи, не страшились равнодушия издателей или издавались сотней бедных экземпляров с оформлением под стать меню в какой-нибудь солигаличской чайной. Песня-то русская, частушка искала ли тиража? Или как, не помню уж, в чьих воспоминаниях, Мандельштам справедливо спускал с лестницы молодого поэта, пожаловавшегося, что его не печатают: “А Иисуса Христа печатали?!” Он мог бы прибавить Гомера и Бояна, несчётных на земле сказителей, вплоть до нашей Марии Кривополеновой, великой памятливицы, весёлой нищей старушки, которую за малый рост звали по деревням Махонькой, но которой за дух её по Петербургам кланялись в ноги великие умы и таланты.

Может, по московской поэзии и меряется высота культуры, да зато по провинциальной-то — нечто более важное: живая душа нации, её песенная генетика, её природный духовный запас, её “недра”. И пусть по заморским странам расселяются столичные поэты, пусть печатаются и славятся там. На здоровье! Не жалко! Это уже “готовый продукт”, “промышленное изделие”. А чернозём-то, земля и корень — всё здесь, по дальним углам, куда не сразу доедешь и где ещё надо приложить усилие сердца, чтобы услышать это необработанное дыхание, которое оттого и кажется необработанным, что свежо и ново, будто слово родилось только вчера, всё в земле и окалине, с неостывшим огнём внутри. И стоит оно на единственном месте, так что вынь его и перевези в столицу — оно не будет знать, как ступить, но не потеряется, вызывая злую зависть, переодетую в высокомерие или снисхождение у малых и мёртвых, восхищение — у живых и открытых.

### III

Беда только, что всякое противопоставление ложно, ибо хоть Истина и одна, но она одна в небесном смысле, как та, что неузнанная стояла перед Пилатом, а в земном — увя, всё пестрее и потаённое. Деление поэзии на “столицу” и “провинцию” в высшей истории русской литературы, которая есть единственно достойная история, — насильственно и произвольно. А. Кольцов, Я. Полонский, И. Никитин, Н. Клюев, С. Есенин, П. Васильев, Н. Рубцов — по какой “графе” проводить эти великие национальные имена? Всякий из них мог бы вместе с Пушкиным сказать: “Числюсь по России”. А поэты “свинцового века” из прекрасной “красноярской серии” — Иван Ерошин, Александр Тиняков, Аркадий Кутилов и — последняя в ряду — Лира Абдулина, оплаканная в предисловии В. П. Астафьевым, метавшаяся, как все они, по русской земле с беспокойной своей музой, не попадая и не желая попадать в насильственный “лад” послушного существования, с любовью простившаяся с друзьями “мольбой последней”: “...пусть будут небеса к вам милосердной”.

Все они “числились по России” и все могли бы пожелать друзьям милосердия судьбы, потому что хорошо знали вкус несчастья. И всех мы теперь славим, наперегонки порицая общество, которое было глухо и слепо к своим лучшим детям.

Судьба русского поэта не сверяется с пропиской. Она ищет Поэта и, боюсь, договор их обоюден, и поэт знает, в какую дорогу выходит, принимая на себя это звание.

*Тоскует он в забавах мира,  
людской чуждается молвы,  
к ногам народного кумира  
не клонит гордой головы...*

И чего же он после этого хочет от мира, от молвы и от народного кумира? И на что сетует? И кого корят потом поэты и их биографы? Всякое новое время включает несчастных гениев в свои пантеоны и кажется себе мудрее минувшего, не умея уследить за переодеванием всё тех же молвы и кумиров, которых дразнит уже новый поэт, готовя новую мученическую главу истории русской поэзии и новый аргумент для нестареющей толпы:

*Смотрите: вот пример для вас!  
Он горд был, не ужился с нами:  
Глупец, хотел уверить нас,  
Что Бог гласит его устами!*

А поэт знает, что подлинно – Бог! Бог гласит его устами. И оттого не смеет предать Его речи и не смеет сделать человеческий выбор, ибо тогда, может, и обзаведётся биографией, да потеряет судьбу.

И потому поэзия и есть светлейшее проявление народного гения, и потому она хранит и бережёт, и завещает новым поколениям его душу, хотя бы, казалось, как сегодня, уже весь народ поделился на продавцов и покупателей и разбежался по торжищам. Смеею сказать, что поэзия – пусть это не покажется святотатством и кощунством! – более хранит образ народа в его Господней полноте, чем религия, чьи история и предание замешаны на чужой истории и предании, слишком перевешивают настоящее и более небесны, чем национальны.

Живущая одним днём, бедная провинция не умела прежде, а уж сегодня и вовсе не умеет понять, что она по-настоящему славна своими неудобными и порой беспутными детьми, с которыми при жизни так много хлопот, но кто дал этой земле имя, кто нарёк её рассветы и полдни, её волю и долю, её горе и любовь, достоинство истории и свет человека, – её поэтами, музыкантами, художниками. Это они несут имя малого своего города и единственные его черты миру и прививают душу малой своей земли к общенациональной душе и вековому русскому духу.

Не все они велики и художественно всесильны и не все дотягивают, даже после смерти, до широкой славы, но и всякий малый чистый голос, не слышимый дальше околицы, – это живой и необходимый сосуд в системе национального кровообращения. Прекрасен старый и уж сто раз цитированный образ, что велики Волга, Дон, Кама, Лена и Енисей, а погляди с небес, и увидишь, что их ветвистые синие жилы крепятся к земле волосяными нитями безымянных ручьёв и речек, которые только на карте безымянны, а подойди к ним, и они назовут себя единственным именем и единственным голосом. И пока пишут русские поэты по своим углам свой дом и русского человека, народ не безличен и не позволит попить славу и историю, и всё будет выситься и звучать среди других народов своим голосом в Божьем хоре и своим голосом просить у Бога воды и хлеба, не бегая за обносками чужих идей и чуждыми ему способами чувствования.

А сегодня над моим садом строкой идут белейшие облака, клубящиеся пенные недолговечные замки. Высокие, несравненные облака. Кто их только не писал и с чем только не сравнивал, а они всё плывут и ускользают в непередаваемой синеве, и дразнят, как Гамлет Полония.

И мнится, есть какой-то урок в этой их величавой неизменности, которая не ведаёт ни минуты покоя. Отведи глаза на мгновение – и не узнаешь родного, только что вроде ухваченного самоуверенным воображением неба.

Эти облака плывут сегодня и над вами, милые мои пермские, вятские, иркутские друзья. Сравните их, как умеете сравнивать и сводить несводимое только вы, и не подписывайте стихов, а я сразу узнаю, где кто из вас, в какой земле увидел плывущие сейчас над нами родные облака. И это будет значить, что русская поэзия жива всей нашей землёй, и она высока и прекрасна, как эти облака, переменчива и неизменна, благословенна и молитвенна, спасительна и вечна, как русское сердце и Господне Слово.